

## СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ЭПОПЕЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА “КРАСНОЕ КОЛЕСО”

© 2003 г. П. Е. Спиваковский

В статье рассматривается сложная система символов в тексте исторической эпопеи одного из крупнейших русских писателей XX в. Символ в интерпретации А.И. Солженицына не только является смыслообразующим элементом художественного текста, но и оказывается глубоко укорененным в жизненной реальности, что придает ему особую, подлинно онтологическую значимость.

The article is concerned with a complex system of symbols in the text of the historical epos by one of the prominent Russian writers of the 20th century. Solzhenitsyn's symbol is not only an element of the text, but also an element of the reality. The double aspect gives it a special, ontologic meaning.

Эпопея А.И. Солженицына “Красное Колесо” (1937, 1969–1973, 1975–1990) – одно из самых сложных произведений во всей русской литературе. Вместе с тем оно занимает центральное место в позднем творчестве писателя, которое в настоящее время осмыслено явно недостаточно. Более того, “Красное Колесо” чаще всего даже и не прочитано. Однако без адекватного понимания солженицынской тетралогии невозможно по-настоящему осознать глубочайшее своеобразие художественного мира одного из крупнейших писателей XX в.

В то же время исключительная смысловая многомерность “Красного Колеса”, полигенетичность его художественной структуры, смелое использование глубоко новаторских художественных приемов – все это сильно усложняет задачу исследователей творчества писателя, ставя их перед лицом целого комплекса трудноразрешимых научных проблем. Одной из них является *проблема художественного функционирования сложной системы символов*. Очень важны и показательны в этом плане символические образы *солнечного затмения, псевдопахи и гуннов*. В частности, осмысление этих мотивов помогает лучшему пониманию художественного функционирования всего формально-содержательного комплекса эпопеи, выявляя ее глубинный онтологический смысл, часто ускользающий от восприятия невнимательного читателя.

Существенной особенностью функционирования анализируемых в данной статье символических образов является их *скрытая смысловая близость, позволяющая рассматривать эти мотивы в рамках единой семантической системы*. Поэтому в данном случае наиболее рациональным является отказ от внешне более стройного рассмотрения каждого из этих символов по

отдельности. Такой подход позволяет сосредоточить основное внимание на выявлении скрытой семантической общности данных мотивов, а также на художественных особенностях всего выявляемого формально-содержательного комплекса.

\* \* \*

Мотив солнечного затмения впервые появляется уже в 4 главе “Августа Четырнадцатого” в разговоре Ирины (или Ори, так зовут ее домашние) и Ксеньи Томчак:

“ – Я только хотела сказать, – как можно уступчивее вывела Ирина, – что мы очень легко смеёмся, нам всё смешно. Висит в небе комета с двумя хвостами – смешно. В пятницу было затмение солнечное – смешно”.

Ксения возражает:

“ – Ну, правда же... Есть астрономия...”

– Да астрономия пусть как угодно, – стояла Оря спокойно на своём. – А вот шёл князь Игорь в поход – солнечное затмение. В Куликовскую битву – солнечное затмение. В разгар Северной войны – солнечное затмение. Как военное испытание России – так солнечное затмение” [6, т. 1, с. 42].

Действие происходит в самом начале Первой мировой войны, за несколько недель до Самсоновской катастрофы – окружения и сокрушительного разгрома русской армии на территории Восточной Пруссии. Таким образом, если, с точки зрения Ори, солнечное затмение свидетельствует лишь о военном испытании для России и невозможно предсказать, что ждет русскую армию – победа, как в Куликовской битве и в Северной войне, или поражение, наподобие того, которое описано в “Слове о полку Игореве”, то для читателя ответ очевиден. С этого момента в тексте

“Красного Колеса” актуализируется параллель между событиями неудачного похода Новгород-Северского князя Игоря в 1185 г. и Самсоновской катастрофой августа 1914. Вместе с тем открытым остается вопрос, случайна ли связь между солнечным затмением и дальнейшими историческими событиями конца XII и начала XX вв.

Ирина Томчак, не отвергая факта астрономической предсказуемости солнечных затмений, видит в них знаки, знамения, посылаемые человечеству свыше. Напротив, собеседница Ирины, Ксения Томчак, находясь под сильным влиянием господствовавшего в интеллигентских кругах того времени материалистичеко-позитивистского мировоззрения, воспринимает такого рода космические феномены лишь на физическом уровне. В то же время решать, кто из двух женщин прав, приходится читателю.

Далее, в 14 главе “Августа Четырнадцатого”, в которой господствует точка зрения молодого офицера Ярослава Харитоновича, принимающего участие в военной операции русских войск в Восточной Пруссии, говорится: «А 8 августа, на третий день как перешли немецкую границу, было полное солнечное затмение. Об этом был заранее приказ по дивизии и разъясняли офицеры солдатам: что тут ничего особенного, что так бывает, и только надо будет удерживать лошадей. Однако не верили простаки-мужики – и когда стало среди знойного дня темнеть, наступили зловещие красноватые сумерки, с криками заматались птицы, лошади бились и рвались, – солдаты крестились сплошь и гудели: “Не к добру!.. Ой, неспроста...”» [6, т. 1, с. 133]. Простонародно-крестьянская точка зрения на солнечное затмение, очевидно, близка к точке зрения Ирины Томчак. При этом сами солдаты напоминают скорее толпу паломников, чем представителей регулярной армии: «Второй офицер их батальона, штабс-капитан Грохолоц <...>, – сам от смеху давясь, кричал на колонну: “Эй, шествие богомольцев! В Иерусалим собрались?” И до чего ж метко было крикнуто, смеялся Ярослав <...>. Запасные тяготились винтовкой, как лишней тяжелой палкой нацепленной, и новыми твёрдыми сапогами тяготились и, невдогляд офицерам, стягивали их, перекидывали веревочкой через плечо, а топали босиком» [6, т. 1, с. 133]. Таким образом обнаруживается глубинная “несовременность” простонародного мировоззрения. Эти крестьяне, внезапно ставшие солдатами, оказываются неспособны соответствовать требованиям регулярной армии XX в., в частности, и потому, что они являются носителями иной культурной традиции, глубоко чуждой урбанистичеко-секулярному менталитету образованной части русского общества. Вот что говорит о необходимости соединения простонародной и интеллигентской ветвей рус-

ской культуры один из персонажей “Красного Колеса”, философ Пётр Бернгардович Струве:

“ – В нашей свободе, – медленно говорил Струве, шурясь, – мы должны услышать и плач Ярославны, всю Киевскую Русь. И московские думы. И новгородскую волю. И ополченцев Пожарского. И Азовское сиденье. И свободных архангельских крестьян. Народ – живёт сразу: и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. И перед своим великим прошлым – мы обязаны” [6, т. 5, с. 241–242].

Струве говорит о том, на какой аксиологической основе может и должна быть построена демократия в России. Будучи интеллигентом, носителем русской культуры “европейского” типа, философ указывает на необходимость ее соединения с “архаической” культурой простого народа, основанной на аксиологии, которая была характерна для допетровской Руси. Система национальных, нравственных и религиозных ценностей этой “традиционалистской” ветви русской культуры очень важна и для будущего России, убежден философ.

Вместе с тем П.Б. Струве обращает внимание на то, что для простонародного сознания в большой степени характерна темпоральная неопределенность, чуждость линейной форме времени, поскольку образ жизни и психология русского крестьянина мало менялись на протяжении веков. Отсюда – черты глубокой архаики, проявляющиеся в сознании и поведении солдат Первой мировой войны, этих “переодетых богомольцев” [6, т. 1, с. 142], мировидение которых заставляет вспомнить об авторах и героях древнерусской литературы. Так, например, в “Повести временных лет” содержатся многочисленные упоминания о разного рода небесных знамениях, которые осмысливаются в этом произведении примерно так же, как воспринимает солнечное затмение солдаты в августе 1914 г.

Но еще ближе к описываемым событиям начала Первой мировой войны оказывается сюжет “Слова о полку Игореве”<sup>1</sup>. Не случайно Ирина Томчак упоминает о солнечном затмении, предшествовавшем неудачному походу Новгород-Северского князя на половцев. Не случайно и П.Б. Струве вспоминает о плаче Ярославны как об одном из важнейших элементов национально-исторической системы ценностей. События конца XII в. внезапно становятся остроактуальными в начале XX столетия. Поэтому на символическом уровне мотив солнечного затмения указывает, в частности, и на эту скрытую связь времен. Герои “Слова о полку Игореве” Игорь и Всево-

<sup>1</sup> Симптоматично и то, что Солженицын использует это произведение и в романе “В круге первом”, в котором обитатели “шарашки” устраивают в конце 1949 г. импровизированно-пародийный “суд” над князем Игорем, неопровержимо доказывая его “вину” и наличие “изменнической деятельности” с точки зрения общепринятой в то время в СССР судебной практики (см. [9, т. 2., с. 16–24]).

лод пытаются игнорировать зловещее предупреждение и, несмотря на затмение, отправляются в поход. Так же поступает и командование русской армии в Восточной Пруссии. И в обоих случаях русское войско ожидает сокрушительный разгром. Это можно было бы принять за случайное совпадение, если бы не ряд скрытых аллюзий и реминисценций в тексте “Августа Четырнадцатого”, заставляющих вспомнить о “Слове о полку Игореве”.

Так, в этом произведении уничтожение русской армии метафорически отождествляется с молотью на току: “**На Немигѣ снопы стеляють головами, молотать чепи харлажными, на тоцѣ животъ кладѣть, вѣють дѣшѣ отъ тѣла**” [5, с. 382].

Сходная сцена есть и в “Августе Четырнадцатого”. Полковник Георгий Воротынцев и молодой солдат-крестьянин Арсений Благодарёв оказываются в одном окопе во время сверхинтенсивного артиллерийского обстрела, когда звуки разрывающихся снарядов соединяются в один сплошной “беззвучный грохот”: “Всё слилось. В общее трясение, в муку перед смертью”. В это время Воротынцев слышит, как Благодарёв кричит ему в ухо:

– Как-зна-току!!

Воротынцев не понял: что – как знатоку? Дать часы подержать, как знатоку? хвастается, что на часы смотреть тоже знаток?

– Как-на-току!! – ещё раз рявкнул Благодарёв, шала силой лёгких.

И ещё не сразу достигло Воротынцева: как на току! Как колосья, распластанные на току, так и солдаты в окопах притаились и ждут, что расколотят им тела, каждому – его единственное. Гигантские цепи обходили их ряды и вымолачивали зёрнышки душ для употребления, им неизвестного, – а жертвам солдатским оставалось только ждать своей очереди. И недобитому, и раненому – только ждать своей второй очереди.

Правда, чем они эту молотилку выдерживают? – не ревут, не сходят с ума.

<...>

Ну что ж, начали и привыкать. Это такая форма жизни: жить под молотью. Начали привыкать” [6, т. 1, с. 257–259].

По справедливому замечанию Ж. Нива, в этой сцене “происходит как будто встреча <...> двух языков, интеллигентского и крестьянского” [4, с. 137]. Более того, здесь встречаются две системы мировосприятия, два типа мышления, существенно не самодостаточные и во многом дополняющие друг друга. Вместе с тем французский исследователь считает, что в процитированном выше тексте использована “широчайшая по охвату метафора, в которой поле битвы становится током для разгневанного Бога-мужика. Военная

история, вообще история переписывается поэтическим крестьянским есенинским языком <...>” [4, с. 137]. С этим утверждением Нива невозможно согласиться: образ “разгневанного Бога-мужика” вполне естественен для поэтического мира С.А. Есенина, но подобного образа нет ни в анализируемом тексте “Красного Колеса”, ни вообще во всем творчестве А.И. Солженицына, чья художественная система резко отличается от есенинской. Что же касается процитированного выше текста, то здесь намного более уместна параллель со “Словом о полку Игореве”. Метафорическое изображение гибельной для русской армии битвы как молотьи на току, данное безымянным древнерусским автором, внезапно актуализируется, благодаря типологической близости его мышления к мышлению молодого русского крестьянина Арсения Благодарёва, который почти через три четверти тысячелетия воспринимает мир сходным образом. В основе здесь – перцептивный инвариант, важный не только в художественном плане, но и как выражение неких константных основ национального бытия, неподвластных историческим бурям и разрушениям. Насколько темпорально изменчиво сознание образованной части русского общества, настолько неизменным оказывается менталитет простого крестьянина, и в этом, по Солженицыну, залог здоровой и естественной исторической преемственности, гармонически объединяющей оба начала – традиционно-инвариантное и изменчиво-современное. Именно поэтому столь важны процитированные выше слова героя “Красного Колеса” П.Б. Струве о том, что демократия в России должна опираться не только на интеллигентское культурное наследие, но и на культуру простого народа. Такое понимание общенародных основ подлинной демократии близко и самому Солженицыну. Например, в книге “Угодило зёрнышко промеж двух жерновов” писатель замечает: “А я то демократ – попоследовательней и нью-йоркской интеллектуальной элиты и наших диссидентов: под демократией я понимаю реальное народное самоуправление снизу доверху, а они – правление образованного класса” [10, с. 64]. Не случайно Солженицын делает все от него зависящее, для того чтобы преодолеть отчуждение (в гегелевском смысле) и взаимонепонимание, существующие между простым народом и интеллигенцией. Для писателя такая позиция органична и естественна: сам Солженицын, чьи родители были выходцами из крестьянских семей, непротиворечиво сочетает в своей человеческой и художественной индивидуальности черты как крестьянские, так и интеллигентские, что дает ему возможность воспринимать прошлое и настоящее России “стереоскопически” – и с простонародной (крестьянской), и с элитарной (интеллигентской) точек зрения одновременно. Неантаго-

нистически соединяя менталитет двух основных ветвей русской культуры, писатель, в частности, и на личном примере демонстрирует возможность примирения и гармонизации этих, казалось бы, несовместимых мировоззрений, которые оказываются двумя полюсами общенационального антиномического культурного единства, вне которого, по убеждению Солженицына, реальная демократия в России вообще невозможна.

Однако, несмотря на наличие в “Августе Четырнадцатого” аллюзийных отсылок к истории и культуре Древней Руси, Солженицын показывает и существенное отличие метафорической молотьбы начала XX в. от той, которая описана в “Слове о полку Игореве”, где изображается окончательный разгром и гибель русской армии: герой “Августа Четырнадцатого” Георгий Воротынцев понимает, что “из окопа полного профиля даже за час” такого сверхинтенсивного обстрела невозможно “вырвать более четвертой части защитников <...>” [6, т. 1, с. 257]. Простые, необразованные солдаты этого, конечно же, не знают – они просто *привыкают* “жить под молотьбой”. Храбрость, стойкость, терпение и простодушие русского солдата проявляются здесь естественно и ненавязчиво, без малейшего намека на какую-либо героическую позу или патетику.

И в “Слове о полку Игореве”, и в “Августе Четырнадцатого” сокрушительный разгром русской армии, символически “предсказанный” солнечным затмением, совершается на *чужой* земле, на территории противника, причем поражению предшествует “победа” и захват обильной добычи:

“Съ зараниа въ патъкъ потопташаа поганыа плъкы половецкыа, и рассѣшасъ стрѣлами по полю, помчаша красныа дѣвки половецкыа, а съ ними злато, и паволокы и драгыа оксамиты. Орьтъмаами, и япончицами, и кожѣхы начаша мосты мостити по волотомъ и гразныымъ мѣстомъ, и всакыми оузорочьи половецкыими” [5, с. 374], – так описывается эта легкая и иллюзорная победа в “Слове о полку Игореве”. Еще легче входит русская армия в Восточную Пруссию в августе 1914 г. Там не оказывается не только немецких войск, но и местного населения. Вот как описывается эта ситуация в 29 главе “Августа Четырнадцатого”, в которой господствует точка зрения уже упоминавшегося выше Ярослава Харитоновна: “<...> в полдень, при ярком солнце, при ровном ветерке, при веселых пучных белых облаках <...> уже и входили они в <...> небольшой городок Хохенштейн <...>, поразительный не только уемистой теснотой крутоскатных кровель, но – полной безлюдностью, этим даже страшен в первую минуту: вовсе пуст! <...>.”

<...> как в сказке, на первых шагах в зачарованной черте истекают из героя силы, и роняет он меч, копье и щит, и вот уже весь во власти вол-

шебства, так и здесь первые кварталы чем-то обдали входящие батальоны – и расстроился их шаг, свертелась головы в разные стороны, смягчился, сбился порыв двигаться на шум боя <...>. <...> да единая батальонная воля тоже парализовалась, и зажали роты отдельно каждая, а там и они распались на взводы, – и удивительно, что это никого не удивляло, а повеяло заколдованным обессиляющим воздухом” [6, т. 1, с. 305–306].

Немецкое командование заманивает русские войска вглубь своей территории, чтобы затем, усыпив их бдительность, нанести сокрушительный удар. Вместе с тем ярко светящее солнце (Солженицын стремится быть безупречно точным при описании погоды в каждом конкретно-историческом хронотопе) резко контрастирует с недавно случившимся солнечным затмением. Казалось бы, теперь мрачные предчувствия забыты, однако пустота и безлюдье (в городе не оказывается даже собак) создают впечатление пребывания в ирреальном, заколдованном мире (подобно автору “Слова о полку Игореве”, Солженицын активно использует в этом описании элементы мифопоэтической образности). И понемногу Ярослав подсознательно начинает ощущать “страх, предчувствие беды, что ли?” [6, т. 1, с. 308]. Начинаются грабежи, но мародеров, вопреки строгим предписаниям, никто не ловит и не наказывает: “Хрустело под сапогами от насыпанного и выбитого. Вот в оконном проломе – разворошенная квартира, ещё не вся нарушена недавняя любовная опрятность, а комоды вывернуты, а по полу – скатерти, шляпки, бельё” [6, т. 1, с. 308–309]. “Любовной опрятности” хорошо налаженного немецкого быта противостоит деструктивная стихия отчуждения. Русские крестьяне воспринимают этот чужой для них мир как нечто *никому не нужное*, как то, что можно и даже *следует* разорить и разрушить. Поэтому, когда в Хохенштейне загорается один из только что ограбленных домов и на нем начинает “мелкими выстрелами” лопаться черепица, – солдаты видят это, однако никто не бежит тушить:

“Дым и пламена с треском выбрасывали, выносили вверх чужой ненужный материал, чужой ненужный труд – и огненными голосами шуршали, стонали, что всё теперь кончено, что ни примирения, ни жизни не будет больше” [6, т. 1, с. 313]. Такова точка зрения Ярослава Харитоновна, в данном случае, очевидно, совпадающая с точкой зрения реального автора.

Это бессмысленное надругательство над результатами чужого и потому ненужного русским солдатам труда оказывается не только глубоко символическим, но отчасти и роковым. *С этого момента месть со стороны немцев становится не только возможной, но в каком-то смысле и оправданной*. Сходное значение имеет и процитированный выше фрагмент текста “Слова о пол-

ку Игореве”, в котором описывается, как переполненные богатой добычей русские воины начинают “мостить” болотистые места на своем пути дорогами тканями, захваченными у половцев. Такое поведение обеспечивает противнику моральное преимущество вне зависимости от первопричин войны. Как справедливо отмечал М.М. Бахтин, «“Слово о полку Игореве” – это не песнь о победе, а песнь о поражении и <...>. Поэтому сюда входят существенные элементы хулы и посрамления (дело идет о поражении не врагов, а своих)» [1, с. 39]. В “Августе Четырнадцатого”, также повествующем “о поражении не врагов, а своих”, аналогичные элементы хулы и посрамления выполняют ту же “очистительную” функцию, как и в “Слове о полку Игореве”. Они помогают глубже осознать многочисленные причины случившегося и открывают (хотя бы в будущем) возможность этического преодоления того, что привело к военной катастрофе как в 1185, так и в 1914 г.

Вместе с тем в 29 главе “Августа Четырнадцатого” показано, как легкое и беспрепятственное разграбление немецкого города вызывает у многих солдат чувство эйфории:

“Нет, хмельность была не пьяная, а благодушная, – доброжелательность пасхального розговенья” [6, т. 1, с. 312]. Отчасти такое настроение связано и с тем, что русские солдаты находят и пьют немецкий напиток – “какаву” (какао). Это псевдопасхальное розговенье происходит 14 августа (все даты в “Красном Колесе” даны по старому стилю) – за день до окончания строжайшего Успенского поста (и за день до полного разгрома русской армии в Восточной Пруссии). Внезапное превращение “переодетых богомольцев” в безжалостных к результатам чужого труда мародеров, мгновенно забывающих и о Боге и о Церкви, не только демонстрирует негативные стороны народного характера, но и осмысливается как тяжкий грех, за который придется платить. Среди прочего – и собственной кровью.

Символически значимый мотив псевдопасхи, таким образом, оказывается связан с забвением Бога и предпочтением сиюминутных земных благ исполнению Его воли, в частности соблюдению поста и заповеди “не оукради” (Исх. 20: 15; Втор. 5: 19; церковно-славянский перевод). Вместе с тем далеко не случайно, что русские крестьяне, ставшие солдатами, оказываются уязвимы именно перед лицом *этого* искушения. Герой романа Солженицына “В круге первом” Глеб Нержин (это автобиографический персонаж), желая приобщиться к “философии жизни” простого народа, вскоре обнаруживает: люди, которым он вознамерился подражать, чаще всего были, по сравнению с ним самим, “много жадней к мелким благам <...>” [9, т. 2, с. 131], а следовательно, в

этом плане и более уязвимы. Поэтому неудивительно, что, казалось бы, незначительный инцидент разграбления небольшого немецкого города в Восточной Пруссии оборачивается в тексте эпопеи “Красное Колесо” прологом к революционному разграблению всей России. Вскоре те же самые мужики-солдаты будут громить и жечь помещичьи усадьбы, врываются под видом “обысков” в городские квартиры и грабят их, рассматривая цивилизацию и культуру европейски образованной части русского общества как не менее чуждую и враждебную себе, чем цивилизация и культура Хохенштейна.

Таковы последствия произведенной Петром I культурной революции<sup>2</sup>, расколовшей русское общество на два не понимающих друг друга общественных слоя – европейски образованную интеллектуальную элиту и чуждый западноевропейской культурной традиции простой народ. Солженицын подчеркивает: “Есть любители уводить этот разрыв к первым немецким переодетаниям Петра – и у них большая правота” [6, т. 3, с. 71]. Вместе с тем, как справедливо отмечает М.М. Голубков, в результате действий Петра I “в рамках одного языка, одного вероисповедания, одного народа” появляются, “не совпадая, почти не перекрещиваясь, две субкультуры, как бы не замечающие существования друг друга. <...> Но в самом факте их сосуществования содержался глубокий конфликт, проявившийся и в пугачевщине, и в революции 1917 г., и в Гражданской войне” [3, с. 88].

Вместе с тем, по мысли Солженицына, революционная катастрофа 1917 г. была бы невозможна без постепенного массового забвения христианской системы ценностей. Так, мотив псевдопасхи связан в анализируемом эпизоде эпопеи и с ослаблением религиозной веры среди простого народа. По словам писателя, “в Девятнадцатый благополучный век – на самом деле подготавливалось падение человечества <...>”. Дело в том, что “люди <...> чаще всего принимают материальное благополучие за ту цель, к которой мы идём, – а мы не к этой цели идём!” [7, т. 3, с. 191], – убежден Солженицын. “<...> главный порок современной цивилизации” писатель видит “в неверном понимании цели человеческой жизни. Она в том, чтобы кончить жизнь на более высоком нравственном уровне, чем твои начальные задатки” [7, т. 3, с. 56], – считает автор “Красного

<sup>2</sup> Солженицын замечает: “Трудно сохранить за Петром звание *реформатора*: реформатор – это тот, кто считается с прошлым и в подготовке будущего смягчает переходы”. При этом автор “Красного Колеса” разделяет в данном вопросе мнение выдающегося русского историка В.О. Ключевского. Не случайно писатель подчеркивает: “Ключевский выносит уничтожительный приговор гражданским действиям Петра. Пётр был не реформатор, а – революционер <...>” [7, т. 1, с. 620–621].

Колеса”. И простые мужики-солдаты, несмотря на всю свою “древнерусскую” традиционность, также оказываются подвержены антропоцентрическому соблазну служения самим себе, а не Богу. Мотив псевдопасхи, помимо очевидного бытового значения, приобретает и глобальный онтологический смысл. Предпочтение тварного начала божественному, нетварному, оказывается скрытым источником поистине чудовищного и всеразрушающего зла. В первую очередь именно этим и объясняется, казалось бы, необъяснимая трансформация “переодетых богомольцев” в жестоких и безжалостных мародеров. По словам Солженицына, «Достоевский несколько преувеличил миф о святом русском простом человеке. Мне пришлось, – замечает писатель, – в третьем Узле – в “Марте Семнадцатого” <...>, – затем и в “Апреле Семнадцатого”, рассматривая картины революции, увидеть противоположное. Сплошное безумие охватывает массу, все начинают грабить, бить, ломать и убивать так, как это бывает именно в революцию. И этого святого “богоносца”, каким его видел Достоевский, как будто вообще не стало. Это не значит, что нет таких отдельных людей, они есть, но они залиты красной волной революции» [7, т. 3, с. 288]. Вместе с тем, говоря о первопричине всех этих страшных и чудовищных событий, Солженицын замечает: “<...> я сегодня на просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной революции, сглававшей у нас до 60 миллионов людей, не смогу выразить точнее, чем повторить: “Люди забыли Бога, оттого и всё.”<sup>3</sup>» [7, т. 1, с. 447]. Более того, писатель видит в этом “главную черту всего XX века <...>” [7, т. 1, с. 447]. И мотив псевдопасхи скрыто указывает на эту антропоцентрическую интенцию, лежащую в основе главного исторического события XX столетия – революционной катастрофы 1917 г.

При этом одной из важнейших предпосылок революции Солженицын считает вовлечение России в Первую мировую войну, истребление в этой бессмысленной и кровопролитной войне лучшей части русского народа, многолетнее изнурительное напряжение народных сил. Поэтому сокрушительное поражение русской армии в Восточной Пруссии в самом начале войны оказывается во многом роковым не только для военной кампании 1914 г., но и для страны в целом. Солженицын показывает, что это поражение было обусловлено многими причинами. В первую очередь – самодовольством, некомпетентностью и эгоизмом многих генералов, в особенности тех, кто руководил этой операцией из Ставки Верховного Главнокомандования.

<sup>3</sup> Так в тексте Солженицына (индивидуально-авторская пунктуация).

Вместе с тем на символическом уровне разгром русской армии в середине августа 1914 г. был предопределен за неделю до этого события, когда 8 августа, в пятницу<sup>4</sup>, произошло солнечное затмение, выявившее скрытую близость происходящего к событиям, описанным в “Слове о полку Игореве”. При этом фабульный параллелизм не связан в данном случае с какой-либо литературной игрой. В основе здесь – целая цепь реально-исторических совпадений, на которые Солженицын лишь указывает, никак их не комментируя. В то же время писатель подчеркивает сходство Самсоновской катастрофы 1914 г. с неудачным походом русских войск в XII в. при помощи метафорического образа молотьбы на току, совпадающего с аналогичным образом из “Слова о полку Игореве”. Однако этот образ лишь оттеняет документальную точность во всех прочих случаях, связанных с данным историческим параллелизмом.

Впрочем, “военный” сюжет “Августа Четырнадцатого” сближается с сюжетом “Слова о полку Игореве” далеко не полностью. Так, например, командующий русскими войсками в Восточной Пруссии генерал Самсонов не попадает в плен, подобно князю Игорю, а кончает жизнь самоубийством. В то же время многие группы русских солдат и офицеров по возможности незаметно (а иногда с боями) выходят из окружения и возвращаются в Россию, что опять-таки напоминает бегство князя Игоря из половецкого плена. При этом отношение немецких властей к пленным резко дифференцировано: девятерым русским генералам предоставляются почетные и комфортные условия (эта ситуация вновь отчасти напоминает половецкое пленение князя Игоря), а простых солдат ожидает “новинка”, изобретение начала XX в. – *концентрационный лагерь* [6, т. 2, с. 62–63]. Впрочем, почти все параллели с текстом “Слова о полку Игореве” непреднамеренны. Писатель стремится как можно меньше прибегать к услугам вымысла, и те или иные аллюзии чаще всего возникают в тексте “Красного Колеса” “сами собой”. Эти аллюзийные связи существуют объективно, на уровне художественно воссоздаваемой в “Красном Колесе” исторически

<sup>4</sup> В пятницу, как известно из Евангелия, был распят Христос, и в этот день недели Церковью установлен почти круглогодичный пост в память о крестной муке Спасителя. Поэтому то, что солнечное затмение происходит именно в пятницу, также глубоко символично. Однако Солженицын отнюдь не стремится к какому-либо специальному подчеркиванию данной детали. Так, Ирина Томчак, вскользь упомянувшая о том, что “в пятницу было затмение солнечное <...>” [6, т. 1, с. 42], говорит об этом вскользь, явно не понимая символического смысла происходящего. Поэтому лишь встречная активность читателя может помочь выявлению скрытого значения как самого мотива солнечного затмения, так и всех обстоятельств его появления на страницах “Красного Колеса”.

точной картины мира. Для Солженицына намного важнее выявить символическую значимость самой первичной жизненной реальности, позволяющую приблизиться к хотя бы частичному постижению Божьей воли и высшего, метафизического смысла исторических событий, в частности и Самсоновской катастрофы 1914 г.

Возвращаясь к спору Ирины и Ксеньи Томчак о том, как следует относиться к феноменам типа солнечного затмения, можно сказать, что текст “Августа Четырнадцатого” свидетельствует о сущностной правоте Ирины. При этом Солженицын отнюдь не навязывает читателю свою точку зрения. Просто *сам ход событий* указывает на глубинную символическую значимость солнечного затмения не только в художественной системе “Красного Колеса”, но и в первичной, внехудожественной реальности, воссозданной в этом произведении. Солженицын лишь обращает внимание читателя на те или иные символически значимые детали, и только.

То же происходит и тогда, когда Ирина Томчак видит в октябре 1916 г., как по всей ставропольской степи горят костры: “То сжигали <...> бодылья подсолнуха на поташ. Рук не хватало, и сдвигалась недоделанная работа в осень и в ночь. <...>”

Если сейчас посмотреть с балкона второго этажа – степь увидится в разбросанных этих кострах. И вдруг – так тревожно привидится: будто это стали на ночлег несчётные кочевники, саранчой идущие на Русь” [6, т. 4, с. 304].

Мистически чуткая Оря ощущает приближение какой-то стихийной и неодолимой силы, страшной и губительной для России. В качестве таких кочевников можно представить и изображенных в “Слове о полку Игореве” половцев. В таком случае эта сцена символически связывается с мотивом солнечного затмения, предвещающего победу врагов Руси. Так, вероятно, могла бы интерпретировать этот символический образ и сама Ирина Томчак. Вместе с тем в художественном мире “Красного Колеса” образ неисчислимого множества кочевников, идущих войной на Русь, неожиданно связывается с темой революционного противостояния простого народа и европейски образованной части русского общества: столкновение “европейского” и “азиатского” начал происходит в данном случае на внутринациональном уровне.

В 131 главе “Апреля Семнадцатого” лидер партии октябристов А.И. Гучков думает: “О, как трудно, как трудно нам объясняться с простонародьем. Так оно и остаётся – сфинкс. Мы окружены ими как становищем степных пришлецов” [6, т. 10, с. 230]. Таким образом, культурная пропасть

между двумя ветвями русской культуры, интеллигентской и простонародной, ставится в контекст конфликтного противостояния Руси и степных кочевников, Европы и Азии. Эта проблема волнует писателя давно. Так, еще в рассказе “Захар-Калита” (1965), посвященном воспоминанию о Куликовской битве, Солженицын (устами рассказчика) подчеркивает: “Это битва была не княжеств, не государственных армий – битва материков” [9, т. 3, с. 293]. (Точнее было бы говорить о битве *двух частей света*, Европы и Азии, поскольку *материк* в данном случае един и неразделен – Евразия, однако писателя здесь, очевидно, привлекает *метафорический образ сталкивающихся друг с другом континентов*, позволяющий ощутить подлинный масштаб такого исторического события, как Куликовская битва.) При этом автор “Красного Колеса” отнюдь не является сторонником конфликтного противостояния европейского и азиатского начал. Более того, Солженицын глубоко убежден в необходимости примирения Востока и Запада, Европы и Азии. Не случайно писатель указывает на особое положение России между этими двумя частями света: “Я думаю, что у нас двойственная роль, двойственное место – всегда так было и всегда будет. <...> мы касаемся и восточного образа жизни и западного <...>. Неправильно относить нас ни к Западу, ни к Востоку” [7, т. 3, с. 199–200]. Вместе с тем Солженицын резко критически оценивает евразийские теории, в основе которых, по его мнению, лежит представление о том, “что Россия органически принадлежит Азии и своё будущее должна строить в родстве и единстве с Азией” [8, с. 44]. Такая односторонне “восточная” ориентация не соответствует ни географическому положению нашей страны, ни русскому национальному характеру, убежден писатель (см. [8, с. 45]).

При этом, по Солженицыну, “простонародная” ветвь русской культуры содержит гораздо больше “азиатского” начала (хотя, конечно же, соединенного и с “европейским”), чем “прозападная” культура образованной части русского общества, и это создает ситуацию опаснейшего непонимания между представителями этих двух русских культур. Поэтому революционное *восстание масс* (термин Х. Ортеги-и-Гассета) на символическом уровне осмысливается как нашествие кочевников, насильственно и жестоко утверждающих преобладание “примитивно-азиатского” образа жизни. Не случайно в тексте “Красного Колеса” присутствует фрагмент знаменитого стихотворения В.Я. Брюсова “Грядущие гунны” (1904–1905), лирический герой которого приветствует неизбежное, по его мнению, нашествие новых варваров, поскольку они должны, уничтожив традиционную культуру, “оживить одряхлевшее те-

ло” народа “волной пылающей крови” [2, с. 433]. В основе этого стихотворения – миф, созданный выдающимся русским философом Вл.С. Соловьевым в его книге “Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе” (1896–1900). Согласно этому мифу, незадолго до конца света и Второго пришествия Христа вся Европа почти на полвека будет завоевана несметными азиатскими полчищами, пришедшими из Японии, Китая и Монголии [11, с. 399–402]. Этот миф получил широкое распространение в России в эпоху Серебряного века, подвергаясь многократным и весьма разнообразным рецептивным трансформациям. Так, например, Брюсов в стихотворении “Грядущие гунны” соединил соловьевский миф о будущем с одним из важнейших эпизодов истории гибели Римской империи, утверждая идею цикличности мирового исторического процесса. Вместе с тем стихотворение “Грядущие гунны” было окончено, согласно авторской датировке, 10 августа 1905 г., и представление о грядущем разрушительном, но одновременно и обновляющем пришествии новых варваров, очевидно, ассоциировалось в сознании Брюсова с революционными событиями 1905 г.

Бесследно все сгинет, быть может,

Что ведомо было одним нам,

Но вас, кто меня уничтожит,

Встречаю приветственным гимном [2, с. 433], –

провозглашал лирический герой этого стихотворения, утверждая, с одной стороны, преклонение перед силой (весьма характерное для аксиологии Брюсова), а с другой – приятие разрушения всех традиционных культурных и цивилизационных основ человеческого бытия как фатальной неизбежности (не случайно позднее, послереволюционное творчество поэта развивалось преимущественно в рамках авангардистской традиции).

Историософская точка зрения Брюсова была весьма популярна в эпоху Серебряного века. Отразилось это и в тексте “Красного Колеса”. Так, одна из героинь эпопеи, Сусанна Иосифовна Корзнер, наблюдая за революционной демонстрацией 23 апреля 1917 г., видит: пространство города “как будто – уже распалось на две Москвы, и перед онемевшей второй проплывало по мостовым её красно-чёрное будущее. Красно-чёрное, потому что среди множества красных знамён иногда встречались и чёрные, анархистские – совсем и не много их, а угрожающе выделялись”.

И Сусанна, “не отрывая глаз от шествия”, читает вслух первую строфу стихотворения Брюсова:

– Где вы, грядущие гунны,<sup>5</sup>

Что тучей нависли над миром?<sup>6</sup>

Слышу ваш топот чугунный

По ещё не открытым Памирам.

А может быть все эти демонстрации кажутся страшными только с непривычки?” [6, т. 10, с. 20] – думает Сусанна Иосифовна, но, вспомнив о дурных предчувствиях Леонида Андреева, склоняется к тому, что и ее собственные ощущения неслучайны: нашествие революционных “гуннов” все более начинает походить на глобальную катастрофу.

Мотив гуннов появляется и в разговоре двух героев “Красного Колеса” – философа П.Б. Струве и одного из лидеров партии кадетов А.И. Шингарёва. Выше уже был приведен фрагмент их диалога – слова П.Б. Струве о необходимости опоры на тысячелетнюю русскую национально-историческую традицию. По мысли философа, только это может создать почву для взаимопонимания между интеллигенцией и простым народом, который психологически связан с прошлым России несоизмеримо сильнее и глубже, чем европейски образованная интеллектуальная элита. При этом П.Б. Струве добавляет: “А иначе... Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру” [6, т. 5, с. 242]. Таким образом, мотив гуннов приобретает отчетливо негативное осмысление. В отличие от Сусанны Корзнер, философ не сомневается в беспочвенности брюсовского оптимистического мазохизма. При этом, с большим пониманием и уважением относясь к простонародно-крестьянской ветви русской культуры, П.Б. Струве видит: реальная глубина взаимного непонимания между интеллигенцией и крестьянством столь велика, что сложившаяся культурно-историческая ситуация может обернуться общенациональной трагедией. И тогда мирные в обычных условиях крестьяне превратятся в “гуннов”, уничтожающих чуждые и непонятные для них достижения “европеизированной” ветви русской культуры. Иначе говоря, “почвеннические” интенции П.Б. Струве

<sup>5</sup> В тексте Солженицына именно так – строки четверостишия выровнены “сами по себе”, а тире, указывающее на прямую речь, стоит левее (не как часть стихотворного текста, а отдельно). Очевидно, что такое графическое оформление подчеркивает “цитатный” характер прямой речи героини.

<sup>6</sup> Здесь у Брюсова вместо вопросительного знака стоит восклицательный. Пунктуационное изменение, внесенное Солженицыным, связано, по всей видимости, с устным характером воспроизведения данного текста. Кроме того, если лирический герой стихотворения Брюсова призывает новых варваров-разрушителей, то Сусанна Корзнер настроена куда менее оптимистично: она спрашивает сама себя, не являются ли революционеры, которые проходят сейчас перед нею, теми самыми, предсказанными по этому “грядущими гуннами”? И не находит ответа.

не являются для него самоцелью, но связаны прежде всего с идеей общенационального примирения, без которого невозможно избежать революционной катастрофы, губительной для обеих ветвей русской культуры.

Разговор А.И. Шингарёва и П.Б. Струве, изображенный в 44 главе “Марта Семнадцатого”, происходит ранним утром 26 февраля 1917 г., незадолго до основных событий Февральской революции, в результате которых нашествие новых “гуннов” станет “обычной” повседневной реальностью. При этом в данной главе, в которой господствует точка зрения умеренно прореволюционно настроенного Шингарёва, особое значение имеет пейзаж:

“Всё, всё видимое было беззвучно глубоко погружено в какой-то неназначенный, неизвестный праздник, когда свыше и очищено небо, и все земные движения запрещены, замерли в затянущемся утре долгого льготного дня. И щедро было подарено этому празднику торжественное солнце.

<...>

Нигде ничего не происходило – и жаль. И – жаль было Шингарёву: опять победила власть, и опять потащат Россию по старой колее.

<...>

И – сладко было смотреть, но глазам обеспокоенным не владеть. Праздник был до того торжественный, что сердце пошумливало опасением. Всё было – даже уж слишком мирно, неправдоподобно” [6, т. 5, с. 242].

Это очищенное свыше небо и торжественный праздник, в который погружается все вокруг накануне революционной катастрофы, воспринимаются читателем как своеобразные знаки, знамения из иного, метафизического мира, свидетельствующие о действии Провидения и онтологической неслучайности событий 1917 г. Об этом же свидетельствует и документально точно воссозданный в “Красном Колесе” эпизод гадания в имени Владимира Львова: «<...> под этот Новый год<sup>7</sup> с семьёю запели “Боже, царя храни”, наливая в таз с водой смесь белого, синего и красного воска ёлочных свечей (жена считала всякое гадание противозерковным, но под Новый год у них разрешалось), – и вдруг почему-то, необъяснимо, вся вода в тазу сразу окрасилась в красное. Вдрогнули такому предсказанию. Столько крови прольётся?» [6, т. 8, с. 290] Из трех цветов российского национального флага “побеждает” один – красный. Все это указывает на то, что революция 1917 г., рассматриваемая как онтологический феномен, имеет, помимо очевидного физического, еще и скрытое, метафизическое “измерение”, напоминающее о себе при помощи ряда символически значимых деталей.

<sup>7</sup> 1917-й.

Так, например, ниспосланный свыше торжественный небесный праздник скорее всего связан с почти всеобщим празднично-эйфорическим восприятием Февральской революции почти всей русской интеллигенцией того времени. Вот что думает об этом философ Павел Иванович Варсонофьев, близкий к “веховским” кругам:

“Все удивлялись, как сразу, без мрака, разразилось всеобщее ликование.

И не видели, что ликование – только одежды великого Горя, и так и приличествует ему входить” [6, т. 8, с. 576].

Таким образом, и ниспосланный свыше праздник в небе может быть осмыслен как знамение, указывающее на приход великого Горя, которое лишь по ошибке поначалу воспринимается многими как наступление “золотого века” в истории человечества. Весьма показательна в этом смысле 271 глава “Марта Семнадцатого”, в которой господствует точка зрения сотрудницы Публичной библиотеки в Петрограде Веры Воротынцева:

“Никогда Вера не видела – вне пасхальной заутрени – столько счастливых людей вместе зараз. Бывает, лучатся глаза у одного-двух – но чтобы сразу у всех?

И это многие подметили, кто и церкви не знал: пасхальное настроение. А кто так и шутил, входя: Христос Воскресе! Говорят, на улицах – христосуются незнакомые люди.

<...> Это пасхальное настроение, передаваясь от одних к другим и назад потом к первым, всё усиливалось. <...> Дожили они, счастливы, до такого времени, что на жизнь почти нельзя глядеть, не зажмурясь. Отныне всё будет строиться на любви и правде! Будущее открывается – невероятное, невозможное, немечтанное, неосуществимое. <...>

<...>

Вспоминали имена свободолюбцев, ещё со времён Радищева и Новикова, вспоминали декабристов, Герцена, Чернышевского, народников, народовольцев, – поколение за поколением отдававшие себя с верой в будущую свободу. Ведь вопреки всему – верили, что – будет! И вот сбылось! Какая святая вера, какое святое исполнение!

У многих были слёзы на глазах” [6, т. 6, с. 391–392].

Действие происходит 1 марта 1917 г. во время Великого поста, почти за месяц до Пасхи, которая в этом году приходилась на 2 апреля. Вместе с тем очевидно, что “пасхальное настроение”, стремительно распространившееся в интеллигентской среде, связано отнюдь не с собственно религиозными чувствами, но с псевдорелигиозным преклонением перед революцией, с попыткой “освящения” крайних форм воинствующего антропоцентризма, безбожного и кровавого. И

это, как весьма убедительно показывает Солженицын, весьма характерно для революционно-“демократической” традиции [7, т. 1, с. 324–328]. В то же время далеко не случайно, что в этой сцене вновь возникает мотив псевдопасхи. Этот мотив связан с приятием ряда искушений, роковых для всей дальнейшей судьбы России. Если для крестьянства таким искушением оказывается соблазн разорения и грабежа “чужого” (немецкого или “барского”), то для интеллигенции это соблазн следования революционно-“демократической” догматике, романтическая увлеченность революцией. В обоих случаях приятие искушений связано с забвением Бога, которое, по Солженицыну, является скрытой первопричиной почти всех социальных катастроф XX столетия [7, т. 1, с. 447].

При этом про саму Веру Воротынцеву нельзя сказать, что она забыла Бога. Будучи человеком церковным, Вера, хотя и поддается на время почти всеобщей интеллигентской эйфории, однако, вернувшись домой и поговорив со своей глубоко верующей няней, понимает: “Нельзя было серьёзно повторить ей хоть и самыми простыми словами того, что говорилось сегодня в Публичной: ни про заветную сказку, ни про мечты поколений, ни уж, конечно, про Христово Воскресение.

<...> слова эти все оказались недействительны перед няней <...>”. И постепенно Вера осознает: “Это был какой-то гипноз, очарование говорящего общества” [6, т. 6, с. 393–394]. Таким образом, оказывается, что псевдопасхальное искушение может быть преодолено именно и прежде всего в религиозном плане.

Вместе с тем особо опасным оказывается взаимодействие прореволюционно настроенной интеллигенции и наивных народных масс. Не случайно философ Варсонофьев предупреждает:

“ – У нашей интеллигенции, откровенно сказать, очень много совести, да не хватает ума. <...> У них у всех эти недели – что? Восторг, восторг – и обрывается, дыхания не хватает. <...> Но ничего земного нельзя делать с безудержным преклонением. Надо поглядывать трезво, да и по сторонам. Вровень народу смотреть, да предупреждать: эй-ка, братец, не расхлебайся. Нельзя кадить черни. Нельзя кадить зверю. Как предупреждал Достоевский – демос наиважнейше думает, что социальная идея и состоит в грабеже. Что у нас и покатилося. <...> Младенческий, до-политический народ легко соблазнить. Манит, что кажется: вот, вот она, вековая справедливость! Никто не имеет смелости объяснить народу: свобода – это вовсе не мгновенное изобилие, разорить казну – разорить и самих себя. <...> Если мы так ломаем свободу, то мы и куём себе неизбежное рабство” [6, т. 10, с. 528–529].

И крестьянская псевдопасха, связанная с отчуждением и грабежом, и интеллигентская псев-

допасха, основанная на “безудержном преклонении” перед революцией, оказываются двумя путями разрыва с Богом, которые, в свою очередь, ведут Россию к пришествию новых “гуннов”, а *все происходящее осмысливается одновременно и как прямое следствие действия рук человеческих, и как Божья кара.*

В то же время люди часто не осознают того, что они делают на самом деле. Субъективно-индивидуальное или коллективное осмысление происходящего вступает при этом в резкое противоречие с онтологической реальностью, а перцептивные артефакты перестают соответствовать фактам. Так, один из героев “Красного Колеса”, полковник Георгий Воротынцев, видя революционные события 1 марта 1917 г., думает: “Что за всеобщий морок, обаяние, измена?” [6, т. 6, с. 360]. Огромные массы людей попадают под действие “чар” революции, происходит почти всеобщее “затмение” ума, и символически значимый образ солнечного затмения оказывается в этой ситуации не только предвестием Самсоновской катастрофы августа 1914 г., но и куда более глобальной и онтологически значимой революционной катастрофы. Солженицын, очевидно, не случайно сравнивает период коммунистического господства в России с солнечным затмением. Так, 16 мая 1983 г., еще до того, как в СССР началась эпоха “перестройки”, писатель в интервью лондонской газете “Таймс” отмечал: “Конечно, будущие историки скажут: коммунизм на земле существовал от такого-то и до такого-то года. <...> И возможно, это будет походить на солнечное затмение, когда тень на Землю находит, а потом сходит. <...> Я отказываюсь предсказывать сроки и формы, но я абсолютно уверен в том, что марксизм уйдёт с земли, как затмение” [7, т. 3, с. 132–133], – подчеркивал Солженицын.

Таким образом, символически многозначный мотив солнечного затмения может быть осмыслен и как ниспосланное свыше предвестие семи десятилетий тоталитарного коммунистического правления в России.

\* \* \*

Очевидно, что столь сложное смысловое переплетение онтологически значимых мотивов солнечного затмения, псевдопасхи и гуннов далеко не случайно. По Солженицыну, оно укоренено в глубинной онтологической связи между внешне весьма разнородными феноменами. Так, в 532 главе “Марта Семнадцатого”, в которой господствует точка зрения философа Варсонофьева, говорится: “Не мог он в который раз ещё и ещё не удивиться – всеобщей тайной связи вещей” [6, т. 8, с. 11]. Такая мистическая и в то же время по-земному конкретная рецепция философии всеединства, очевидно, близка и самому Солженицыну,

для которого важно, не отрываясь от окружающей человека земной реальности, увидеть в ней не только материальное, но и религиозно-метафизическое “измерение”. Сотворенный Богом мир оказывается носителем какого-то целостного, хотя и скрытого от поверхностного человеческого взгляда смысла. И хотя бы отчасти приблизиться к разгадке этой тайны помогает пристальное внимание автора “Красного Колеса” к символически значимым деталям в самом бытии.

Вместе с тем онтологически значимые символы, используемые писателем, нередко связаны со свободным проявлением человеческой воли (в частности и революционной), которая взаимодействует в художественном мире эпопеи с действием Промысла. Солженицын подчеркивает: “<...> история есть результат взаимодействия Божьей воли и свободных человеческих воль” [7, т. 3, с. 325].

Революцию (Божью кару) можно было бы и предотвратить, убежден писатель. И дело тут не только в выборе тех или иных политических путей. Вот что говорят об этом герои эпопеи Ксения Томчак и Павел Иванович Варсонофьев:

“ – Но может случиться и чудо? – едва не умоляя спросила Ксения.

– Чудо? – сочувственно к ней. – Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу. Или скудно верит” [6, т. 10, с. 530].

По Солженицыну, люди, забывшие Бога, сами закрывают для себя возможность помощи свыше. Так выявляется сущностная **антионтологичность** антропоцентрическо-гуманистической аксиологии. Отказываясь от Бога и от религиозной системы ценностей, человек постепенно сам создает для себя рукотворное подобие ада. По мысли писателя, коммунистический тоталитаризм является лишь наиболее последовательным воплощением антропоцентрических интенций Нового времени: «Чем более гуманизм в своём развитии материализовался, тем больше давал он основа-

ний спекулировать собою – социализму, а затем и коммунизму. Так что Карл Маркс мог выразиться (1848): “коммунизм есть натурализованный гуманизм”» [7, т. 1, с. 325], – замечает Солженицын. Писатель убежден: **автономное, обезбоженное состояние человеческой души онтологически бесперспективно**, и потому неизбежно оказывается источником катастрофы. В этом основной смысл и значение символических образов солнечного затмения, псевдопашки и гуннов на страницах эпопеи “Красное Колесо”.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин М.М. “Слово о полку Игореве” в истории эпопеи // Бахтин М.М. Собр. соч. В 7 т. Т. 5. М.: Рус. словари, 1996.
2. Брюсов В.Я. Собр. соч. В 7 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1973.
3. Голубков М.М. Александр Солженицын. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.
4. Нива Ж. Солженицын. М.: Худож. лит., 1992.
5. Слово о полку Игореве // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М.: Худож. лит., 1980.
6. Солженицын А.И. Красное Колесо: Повествование в отмеренных сроках: В 10 т. Т. 1–10. М.: Воениздат, 1993–1997.
7. Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Т. 1–3. Ярославль: Верхне-Волжск. кн. изд-во, 1995–1997.
8. Солженицын А.И. Россия в обвале. М.: Рус. путь, 1998.
9. Солженицын А.И. Собр. соч. В 8 т. Т. 1–8. М.: Центр “Новый мир”, 1990. Т. 1–8.
10. Солженицын А.И. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания // Новый мир. 1998. № 9.
11. Соловьев Вл.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе // Соловьев Вл.С. Смысл любви: Избранные произведения. М.: Современник, 1991.